

V 150
389137

МИХАСЬ ЛЫНЬКОВ

ВАСИЛЬКИ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 64
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“
МОСКВА — 1942

9

Lyons Jan. 1892.
1 mi. N.E.
to
Ba

160
389137

МИХАСЬ ЛЫНЬКОВ

ВАСИЛЬКИ

Рассказы
ПЕРЕВОД С БЕЛОРУССКОГО
Е. МОЗОЛЬКОВА

22.11.11



Издательство «Правда»
Москва 1942



1965 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поцелуй	3
Васильки	25
Детский ботинок	32

2017

Зам. отв. редактора И. БРУХИМОВИЧ

Издательство „Правда“	Изд. № 64	
A62160	Заказ типографии 3029	Тираж 10.000 экз.
Формат бумаги 105×148 мм. Печ. л. 1 ¹ / ₄ . Зн. в 1 п. л. 46.000.		
Цена 20 коп.	Подписано к печати 31/ХП 1942 г.	

Набрано и сматрицировано в тип. газ. „Правда“ имени Сталина, Москва, ул. „Правды“, 24. Отпечатано с готовых матриц в тип. „Красное знамя“, Москва, Суцеская, 21, Заказ 207.

ПОЦЕЛУИ

Было похоже на оттепель. Не скрипел снег под ногами, и низко стлался над огородами серый дым, цеплялся, повисал на почерневших сучьях вишен и яблонь. Дым был горький, кислый. Озабоченно наморщив лоб, маленькая Вулька подумала:

«Опять бабульки осиновые жерди палят... Как пошли тятеньки в лес, так и дров хороших не стало... А жерди из забора палить нехорошо: весной в нем дырки будут... Да и тепла от осины мало... Лишь бы только тело немного в печке... Так говорит бабка. Плохо все же без тятеньки...»

На кусте смородины весело защебетала синица. Она поминутно вертелась во все стороны, перескакивала с места на место. Ее синяя грудка мелькала там и здесь. Сразу же загорелись глазенки Вульки, она осторожно поставила чугунок на снег и медленно, шаг за шагом, начала подкрадываться к кусту, неловко растопырив короткие руки. Ее губы шептали:

— Синичка моя... Пташечка... Дай я тебя поймаю...

Но не тут-то было! Вертявая синичка вспорхнула, и — нет ее. Только синее перышко прилипло к сучку, малюсенькое, как пушинка. Вулька положила его на

ладонь, подула — и оно улетело, как снежинка, и пропало. Снег падал густыми, пушистыми хлопьями. Упадет на щеку и сразу тает, расплывается щекоцущим холодком. Вулька вспомнила про бабку: еще рассердится — и быстро взялась за чугунок. Тяжело нести его в одной руке, больно врезается в пальцы тряпка, в которую он завязан. Нужно то и дело менять руку. Вот и перелезла через забор. На столбиках такие красивые, пушистые шапки снега, ну как не смахнуть их рукой? Один взмах — и шапка разлетается легким пухом; сожмешь в кулачке этот пух, — и он превращается в смешной комочек — следы пальцев на нем. Сунешь в рот — кусачий, кусачий снег, даже зубы немеют. И пальцы делаются красными, как гусиные лапки. Но над чугуном они так быстро согреваются.

Только перелезла Вулька через забор и начала снимать чугунок с перелеза, как над самой головой услышала она знакомый голос:

— Деточка моя, что это ты несешь такое?

Едва не выпал чугунок из рук, и Вулька зашептала себе под нос быстро, быстро:

— Бабка велела... Бабка велела...

А что велела бабка, сразу и не припомнишь, если стоит перед тобой этот дядька Касмыль. Хоть и сосед он, но его почему-то сильно недолюбливала бабка и не раз говорила, что у этого человека сердце шерстью — касмылями — обросло. Что это за касмыли такие. Вулька толком не знала, но, видно, очень страшные. Ах, вот и вспомнила Вулька:

— Бабка велела, чтобы я золу вынесла из хаты..

— Так зачем же ты так далеко несешь ее?

— Бабка велела, чтобы угольки не рассыпала и чтобы не попали куда-нибудь в солому да не наделали пожара, не да-а-й то боже... — и, сделав страшные глаза, Вулька смело взглянула на дядю. >

Ах, как они боятся пожара с бабкой! Бабка всегда говорит о пожарах: «Не да-а-й то боже!» Вулька еще раз взглянула в лицо дядьке Касмылю и, заметив, что тот не сердится, опрокинула чугунок и, обжигая ладони, высыпала из него угли и золу.

— Я, дяденька, каждый уголек ногой затопчу, только вы не сердчайте... — и она старательно затаптывала угли ногами, прислушиваясь, как шипели они, как тоненькие струйки пара вырывались из-под ног и исчезали.

— Ты ж смотри, деточка, валенки не сожги!

— Они у меня кожей кожей подшиты! — похвастала Вулька, смело поднимая и показывая пятку валенка.

— Хитрая ты, Вулька, девчонка! — бросает дядя Касмыль и, усмехнувшись, идет своей дорогой, через огород, по выбитой в снегу тропинке; вот он повернул уже на свой двор, к своей хате.

Вулька постояла с минуту, грустно поглядела, как погасли все угли, завязала в тряпку теплый еще чугунок и, торопливо побежала домой, все думая о том, что же скажет она теперь бабке. Ну, и неугомонная эта бабка! Три дня подряд выносила золу и угли из хаты. Где это видано, чтобы так часто золу выносили — хату студили?.. А сегодня бабку погнали немцы в обоз возить солому. Только и успела она насыпать в чугунок угольков и незаметно шепнула Вульке:

— Ты будь разумницей и, когда я уеду, отнеси чугу-

нок... В гумно... Поставь на току, да подальше от сена, чтоб пожару не было, не да-а-й то боже! А сама бы-стренько беги тогда назад, стереги дом...

— Зачем угли носить в гумно? — звонко переспросила Вулька.

Бабка даже руками замахала на нее:

— Тихо, тихо ты!.. Потом я тебе все скажу, разумница... А теперь делай так, как я велела... Да если встретится тебе кто, когда будешь нести, так ты просто высыпь угли в снег...

...Вот она и сделала все, как приказала ей бабка, хитрая бабка-хлопотунья...

* * *

Аксинья приехала поздно вечером. Прямо с порога она подошла к печке и тихонько разбудила внучку:

— Вулька, Вулька, вставай! Ужинать будем!

Вулька приподнялась на печке и быстро рассказала обо всем: как несла она чугунок, как встретился ей дядька Касмыль, как втапывала она уголья в снег.

— Еще синицу видела я... синяя... синяя... — сладко вздохнула Вулька.

— Синицу... — задумчиво повторила Аксинья и, чувствуя, как похолодело вдруг сердце, решительно затинула концы платочка, торопливо заковыляла к двери.

— Куда ты, бабка? Мне же страшно вечером одной в хате.

— А ты... ложись с головой под дерюжку. Я... собираю дров... печь затопим... Я скоренько...

И двор, и огороды, и молчаливые темные деревья — все потонуло в густом вечернем мраке. Падая редкий

снег. На небе зажглись первые звезды. Морозило. Где-то залаяла собака и вдруг, взвизгнув, смолкла. Вокруг стояла серая, слепая тишина. Только со стороны школы — там стояли немцы — еле слышно скулила скрипка и глухо ныла гармоника. Звуки были нудными, тягучими, как тихая зубная боль. Да еще слышно было, как в лесу, что за горелым болотом, подвывали волки. И на мгновение показалось Аксинье, будто видит она, как на сумрачной полянке стоят серые волки и, задрав головы, вглядываются в темное небо и в их голодных глазах мерцают, переливаются печальные отблески далеких звезд. Далеких и недосягаемых. Может быть, оттого и песня такая тоскливая у них, у волков...

Ах, как тяжело на сердце, и словно пелена какая-то упала на глаза — ничего не видно!..

Аксинья ощупью отыскала двери гумна, осторожно открыла их, подошла, наклонилась к овину, прислушалась.

— Сынок мой! — тихо позвала она. — Сыночек!

Пригнувшись, она залезла в овин и, став на колени, обшарила каждый уголок, ощупала рукой кирпичную печку, сухие жерди, с которых сыпалась соломенная труха. Пахло ржаными колосьями и мышами. Она обошла каждый уголок гумна, ощупала груды овсяной соломы, что лежала возле стены. Стоя посреди гумна, снова жадно вслушивалась в ночную темень, силясь уловить, услышать живое человеческое дыхание.

— Отзовись же, сынок мой!

Но вокруг было тихо, так тихо, что слышно было, как шуршали снежинки на соломенной крыше гумна.

Аксинья подумала, что она заблудилась, таким дол-

гям показайся ей обратный путь. Однако вокруг были все те же, посаженные еще ее покойным мужем яблони и вишни, тот же забор, та же бревенчатая ограда двора. В голове роились обрывки мыслей, и их трудно было привести в порядок. Зачем доверила она это дело неразумному дитяти? А как же было сделать иначе?.. Чтобы замерз... Конечно, можно было попросить кого-нибудь из взрослых... Но разве доверишь чужим людям такое дело?

Когда во дворе ее схватили за плечи чьи-то грубые руки, она не удивилась и не испугалась. Ну что ж... Только спросила:

— Что вы хотите от меня, добрые люди?

Ей ничего не ответили, вывели со двора, повели по улице. Тускло поблескивали серые штыки винтовок.

«Видно, к коменданту, а может, и к старосте...»

Она представила себе старосту — его реденькую, куделькой, бородку и вечную ухмылку на нездоровом, зеленоватом лице. Всегда, когда усмехнется он и глянет на тебя, как словно десять кирпичей сразу нависнут на душе. Такая уж усмешка у него, у Сидора Лупянка, или, как звали его за глаза, Қасмыла, Қосмача.

Но солдаты миновали хату соседа.

«Значит, к коменданту...»

Ее подводили к школе.

* * *

За тесовой перегородкой играла гармоника и грубые солдатские голоса вполголоса выводили какую-то песню. Двое часовых переминались с ноги на ногу и

неестественно вытягивались в струнку, когда комендант — немолодой, но и не старый еще офицер в мундире лейтенанта — поглядывал на них или упоминал, говоря по телефону, чин господина полковника. Комендант был чем-то взволнован, часто становился навзятжку с телефонной трубкой возле уха и даже попытался однажды свободной рукой отдать честь, но спохватился вовремя и все повторял одну и ту же фразу: — Слушаю, господин полковник! Есть, господин полковник!

Наконец он положил трубку и начал ходить из угла в угол возбужденный, взволнованный. Остановившись против Василя, искоса взглянул на него, нетерпеливо кусая кончик сигары. Горячие, как угли, глядели на коменданта немигающие, глубоко запавшие глаза. Густые русые брови сходились над переносицей, по лбу пробегали глубокие тонкие морщины. Хмурый, упрямый взгляд приводил коменданта в бешенство. Однако, сдерживая себя, он заговорил тихо, спокойно:

— Жалко, конечно, что не мне придется допрашивать тебя... Ты бы заговорил у меня, ты бы у меня стал шелковым... Но хорошо... Ты должен помнить одно: полковник — человек серьезный... Разговор с тобой будет коротким... Что можно тебе посоветовать: говорить только правду. Спокойно, не волнуясь... Без лишних фокусов. Никакая опасность грозить тебе тогда не будет. Помни только: мы все знаем. Тебя зовут Василь, комсомолец. Может быть, не ты взорвал мост, скажешь? Взорвал. Так, так... Вот и шнур. Может быть, скажешь, не твой? И брат есть у тебя старший... Андрей. Скажешь, где он теперь. Он же командиром

там у вас. И, конечно, мать есть, Аксиныя.. Вот видишь, а ты думаешь, мы ничего не знаем. Играть в молчанку совсем бесполезно, тем более перед господином полковником. ^Г

Он многое еще говорил. Но слова его проходили как-то мимо сознания Василя, вызывая только какие-то неясные мысли и обрывки воспоминаний, неясные образы пережитого, передуманного. Да, он взорвал мост. Это его шнур.. Проклятый шнур, который пришлось заменить ^Гругим, более коротким. Поэтому он и не успел отойти подальше. Осколком железа перебило ему плечо, сильно ударило в грудь. Сколько времени пролежал он там, на мокром снегу? Он помнит только, как, взглянув в темное ночное небо, он увидел отблески холодного трепетного света: возле железнодорожной линии пускали ракеты, искали кого-то. Снег падал густыми частыми хлопьями. Пересильная острую боль, он встал и пошел через лесок, через молодые заросли дубяка. Скоро его поглотил густой высокий бор. Только на рассвете добрался он, дополз до околицы родной деревни. Ему не нужно было туда идти, но он замерзал, совсем обледенело плечо. Вот и гумно. Темный холодный овин, охалка соломы, забытье, испуганные глаза матери... И радость и страх на родном, дорогом лице. «Сынок мой, сыночек... Тебе ли, молодому, так рано искать лютой смерти?..» Ах, как болит плечо!..

Жгучая боль обожгла все тело. Подхватив под руки, часовые поставили Василя на ноги. В комнате стало шумно. Несколько офицеров снимали с себя шинели. За столом уже сидел полковник, и озабоченный комен

дант докладывал ему о чем-то. Чашка горячего кофе дымилась перед полковником. Не глядя на коменданта, он выслушивал рапорт, изредка перебивая его резкими вопросами. Тогда шевелился синеватый шрам на лице полковника и его правое веко подергивалось. Полковник поглаживал веко длинными пальцами, и черный перстень тускло поблескивал при свете керосиновой лампочки.

Василь увидел перстенок и вспомнил, как еще осенью этот человек в соседнем селе, за рекой, топил людей в болоте. Среди них были дети. Это был сам командир кавалерийского эсэсовского полка, или, как прозвали его партизаны, «черный полковник».

Мысли Василя прервала резкая команда. Часовые отступили назад, к стенке. Начался допрос: кто? Откуда? Зачем взрывал мост? Где штаб отряда? Ах, какие они все одинаковые!.. Вот возьми и положи перед ними штаб... Брата проводи на виселицу. Собственными руками задуши мамулю... Родину-мать затопчи в грязь, стань на грудь ей сапогом предателя..

Василь стоял молча, не проронив ни звука. Черный перстенок мерцал перед глазами и менял свой цвет, делался серым, покрываясь потной испариной. Полковник уже кричал, взбешенный, разъяренный:

— На колени, бандит!

Один из офицеров выхватил у часового винтовку, железным прикладом ударил наотмашь по коленям связанного человека. Глухой стон прорезал минутную тишину, и кисти рук часового задрожали мелко, мелко. Связанный человек упал на пол, замолчал. В комнату ввели Аксинью. Она бросилась к распростертому на

полу Василию, но ее грубо оттащили назад к двери. Прислонившись к стене, она стояла и, обессиленная, кивала головой. Через частую сетку морщин скатывались скупые слезинки.

Солдаты выплеснули на Василия ведро воды. И когда тот пошевелинулся, они вышли по команде за дверь. Полковник ждал. Василь заметил Аксицию. Его мокрое лицо согрела едва заметная улыбка:

— Иди до хаты, мама, тебе не надо видеть их... Не надо быть здесь...

Заметив часовых, стоявших возле матери, он виновато сказал ей:

— Прости мне, родная, что из-за меня...

— А-а!.. Заговорил, господин партизан!..— оживился полковник.— Ну, что же, давно бы так... Может быть, что-нибудь скажешь толковое.

— Скажу,— сухо прошептал Василь и приподнял голову.

Это стоило ему мучительных усилий. Он глядел на полковника каким-то странным, просветленным взглядом. Капли воды, скатываясь с мокрых волос, падали на его щеки, на пересохшие, спекшиеся губы. Лицо Василия сделалось суровым, строгим:

— Я скажу вам... Горе вам будет... Смерть вам будет... Черная, поганая смерть... Я жалею, что не мне придется бить вас, но вам не уйти живыми с моей земли, и гнить вы будете, как придорожные черви, потому что наша земля не захочет принять вас, собак...

Полковник медленно поднимался на своем кресле и, ухватившись руками за край стола, тянулся через него к лицу Василия. Кожа на суставах его скатых пальцев

натянулась, побелела, в извилинах синего шрама проступила живая краска. Голос полковника срывался, хрипел:

— С кем говоришь?! Ты!

— С собакой.. Нет, вы хуже собак... Вы убиваете маленьких детей, вы храбры против безоружных. Вы... Ну, ну, не хабричься... Я же не могу теперь ответить тебе пулей на пулю... Но...

И, собрав последние силы, Василь плюнул полковнику прямо в глаза. Сухо хлопнули частые выстрелы. Весь парабеллум разрядил полковник. Затем, повернувшись к Аксинье с налившимися кровью глазами, он взглянул еще раз на пустой револьвер и резко бросил:

— Повесить!

Солдаты вынесли тело Василя, вывели Аксинью и начали торопливо поливать водой и мыть пол, неуклюже увертываясь от сапог полковника. Полковник ходил взволнованный из угла в угол, прямо по лужицам воды. Стояли навтытяжку офицеры. Комендант чувствовал себя виноватым. Где-то в глубине души шевелилась тревожная мысль, что, видно, минует его «железный крест», который надеялся он получить за все это дело. Трудно угодить такому начальнику, как полковник.

Но полковник заговорил, и голос уже звучал спокойней, мягче:

— Вот что, господин комендант, мы должны их так запугать, чтобы у них всегда волосы стояли дыбом... Какая неслыханная дерзость!

— Именно так, господин полковник... — поддакивал успокоенный комендант.

* * *

Аксинью казнили утром. Ее повесили на старом дубе, что высился возле школы. На площадь согнали весь народ из деревни. Долго о чем-то допытывались немцы у Аксиньи. Она стояла старая, сухонькая на столике, принесенном немцами из школы. На желтом столике явственно виднелось чернильное пятно, очень похожее на след детской ладони. Аксинье вдруг захотелось увидеть эту теплую детскую ладошку, оставившую след на столе. Это было, видно, еще до войны, прошлой зимой. Тогда в школе звенели детские голоса, и под этим дубом детские ручонки ловили мяч по весне...

Тихий ветер шевелил волосы на непокрытой голове Аксиньи, мелкие снежинки трепетали на ее бровях, а она все кланялась, кланялась народу и едва слышно говорила:

— Вы не бойтесь, хорошие люди.. Вы не бойтесь, что они меня вешают: они же боятся меня, они вас боятся...

Из толпы донеслось тихое всхлипывание, и чей-то громкий голос прорезал тишину:

— Душегубы! Придет и на вас погубель!

По команде рассвирепевшего полковника солдаты начали разгонять людей, которых они только что сгоняли сюда. Староста, делая испуганное лицо, уговаривал женщин:

— Бабоны мои, отойдите... Разве вам глядеть на это?..

Народ расходился.

Тогда еще раз обратились к Аксинье, чтобы сказала она, кто же из односельчан, кроме нее, знает о партизанах, об их землянках. Аксинья будто задумалась на

минуту о чем-то, будто вспоминала что-то. Все прожитое прошло в один миг перед глазами отчетливо, ясно, как вот это снежное утро, как след детской ручки на школьном столе. Когда-то были такие ручки и у Андрея и у... Василия... замучили Василия. Она взглянула еще раз на улицу, на толпу, остановила свой взгляд на старосте, на Касмыле, который старался держаться в сторонке, незаметно. Его реденькая, куделькой, борода моталась из стороны в сторону, развевалась на ветру. Спокойно и тихо проговорила Аксинья: ☞

— Вы вот все у меня спрашиваете, а я вам ничего не скажу. Если бы и знала, все равно не сказала бы... Вот он...— Аксинья указала на Касмыля,— он все знает... Все знает, до ниточки. Он знает..

Изо всей силы ударил полковник тяжелой нагайкой по голове Касмыля. Тот повалился на землю и, ползая на коленях, начал причитать на всю улицу:

— Господин полковник, да за что же это вы меня?.. Господин комендант, да скажите же вы ему!..

Комендант шепнул что-то на ухо полковнику и поднял на ноги старосту, здесь же сказал ему:

— Это ничего... Маленькое недоразумение.

Полковник даже не взглянул на растерянное, обескураженное лицо Касмыля, молча кивнул рукой, чтоб кончали все это дело, которое показалось ему теперь серым, совсем неинтересным. Не таких результатов ждал он от этой виселицы, от этой казни. Куда приятнее, если ползает человек перед тобой, распростертый в пыли и прахе, жалобно молит о такой маленькой вещи, как обычная человеческая жизнь. Ты чувствуешь себя тогда богом... Еще бы! В твоих руках жизнь и смерть

подобных тебе, а здесь... странные, нелепые люди. Один идет на смерть напролом, сам подгоняет твою безжалостную пулю... Фанатики... Другой... вот посмотрите, умирает, словно радуется чему-то... Умирает и не глядит на тебя, не говорит с тобой, не хочет замечать тебя, словно ты пылинка, словно ты полное ничтожество, недостойное даже проклятья... Все это непонятно, это даже страшно.

Приказав солдатам поджечь партизанскую хату, полковник молча сел на коня и, даже не простившись как следует с комендантом, направился со своим эскадронам из села. Угрюмый, молчаливый, ехал он впереди эскадрона и, выехав за село, пустил коня бешеным галопом, чтобы рассеять ненужные мысли, сбросить с себя противное оцепенение. Где-то, на дне сердца, глухо kloкотала черная злоба. И он чувствовал, что нет ей никакого выхода, нет удовлетворения.

Возле пожара суетился Касмыль. Он очень боялся, чтобы огонь не перебросился на его усадьбу, выгнал целую толпу женщин, и те заполнили улицу и двор, растягивали забор, ломали повесть, чтобы не дать воли огню. Когда снопы искр посыпались из оседавшей крыши, из сеней выкатился маленький горящий клубочек. Женщины, которые были поближе, с ужасом подхватили его на руки, потушили снегом, платками. Закутав в тулуп, одна женщина понесла его подальше от пожара и все приговаривала тихонько:

— Боже мой, боже... Почему же ты, Вулька, не отозвалась, мы же звали тебя и через окно и через сени?..

— Я очень боялась... Бабка как ушла, так и не при-

ходила. Я всю ночь проплакала. Потом приходили немцы, я спряталась на чердаке. А потом, тетенька, пожар.. Я очень боялась дядьки Касмыля, может быть, это от угольков пожар.. Но ведь бабка не топила вчера печь.. А мне очень больно, очень больно.. У меня все болит.

Женщина торопилась изо всех сил, чтобы скорей донести до дома маленькое, обгоревшее, тихо стонавшее дитя.

* * *

Касмыля дважды вызывали к коменданту. Это были все разные мелкие дела: сено, солома, расчистка дорог от снега. О партизанах комендант не говорил, но Касмыль чувствовал, что ими заняты все мысли коменданта.

— Смотри, чтоб ее не снимали. Это — лишнее для науки...

Касмыль не переспрашивал, он знал, о чем говорит комендант. Однако был не очень доволен комендантом. Сколько тот надавал ему разных обещаний! А сегодняшний удар плетью? Даже своему начальнику не рассказывал комендант о нем, о старосте. Это слегка испортило настроение, но вид потухшего пожарища, возле которого проходил Касмыль, быстро развеял его невеселые мысли. Он даже остановился на минуту возле белевшей на пожарище печи. Глядя на ее закопченную и такую сиротливую в ночи трубу, на которую бросал ветер целые пригоршни сухого, жесткого снега, Касмыль почувствовал, как потеплело у него на сердце. Побелевший и расплывшийся от жары чугунок выглядывал из темной пасти печи, такой нелепой теперь, утратившей всю теп-

лоту человеческого очага, все обаяние скромного крестьянского житья.

Касмыль вздохнул и выдавил на лице нечто похожее на улыбку:

— Так вот как, Андрей Иванович... Выходит, не ты меня посадил, а я тебя посадил... Может быть, и до тебя самого еще доберусь, чтоб отблагодарить тебя за всю твою прежнюю ласку... Вы еще не знаете меня, Сидора Лупянка.

Он, не торопясь, пошел в свою хату, вспоминая о кое-каких давно забытых делах, о том, как двадцать лет тому назад посадил его Андрей Иванович — тогда еще желторотый комсомол, — посадил на целых два года тюрьмы. И за что только? Какое дело было ему, молодкососу Андрею, что он, Лупянок, возил контрабанду? Ну, и возил... Не его шкурой рисковал он, Лупянок, а своей собственной. И домик хороший поставил... И все по мелочам. Ну сахарин, ну, соль, спирт и... еще там разные глупости. К тому же он, Лупянок, и главным не был. Так зачем же тогда человека на два года за решетку брать? А десять лет тому назад? Seriously тогда посадил Андрей Иванович, на целых восемь лет посадил. Что говорить, не совсем чисто обработал тогда он, Лупянок. Под пьяную руку все вышло, когда уговорил его богатый сват подпалить колхозный коровник. Подпалить подпалил, а картуз свой с пьяных глаз возле коровника и оставил. Бывшего свата, кулака, расстреляли, а его, Лупянка, на восемь лет в тюрьму. И жена его бросила, даже проститься не пришла. Так и передала через людей, что не хочет жить больше с пьяницей, с наймитом кулацким. А в чем была его вина? В том, что он хотел построить для семьи хороший

домик да лишнюю копейку сорвать одним махом. Что и говорить, получилось житье у него, у Лупянка, незавидное. И когда пришел из тюрьмы, не очень влезал в работу, а все присматривался, с какой стороны прилепиться, чтобы спокойней было и вольготней. Был сторожем, помогал на молочной ферме, потом счетоводом сделался, потому что знал толк в цифрах, имел склонность к ним. Так и скрипел погихоньку пером. Когда выпивал лишнюю чарку, тогда лез целоваться ко всем и, слюнявя куделистую бороденку, словно уговаривал людей:

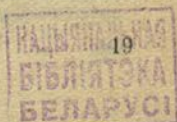
— Вот вы меня все за разбойника считали... А я такой милый человек, ну, просто же вот разлюбезный...

От него отмахивались, как от назойливой мухи.

Касмыль зашел в свою хату. Зеленый полумрак царил в ней. Касмыль давно начал бояться ночной темени и, завесив дерюжками окна, каждый вечер зажигал запыленную лампадку, и она горела всю ночь, тускло поблескивая сквозь мутное зеленое стекло едва приметной искоркой.

Касмыль лег на лежанку. Ее тепло было особенно приятным сейчас, когда глухо завывал ветер в трубе и вьюга билась о стены и окна, так что колыхались старые дерюжки и совсем замирал, готовый погаснуть, малюсенький огонек в лампадке, едва светясь сквозь зеленое стекло. Зеленое...

Касмыль вспомнил про сад. Еще не старый и всегда такой урожайный сад соседки Аксины. Деревьев пятнадцать в нем одних только яблонь и груш, не считая вишен... Комендант обещал... Можно будет продать усадьбу с садом, гумно. Лишняя копеечка не помешает в кармане...



169 389137

В окно громко постучали.

Касмыль приподнялся, прислушался. Стук повторился, был он резким, настойчивым. Касмыль быстро подбежал к лампаде, погасил ее и, приподняв уголок дерюжки, начал настороженно вглядываться сквозь незамерзающий краешек стекла. Он увидел фигуру немецкого солдата. Невдалеке можно было разглядеть еще несколько человек. И когда стук повторился, он тихонько отозвался:

— Ну, я... Чего еще там стучите?

— Господин комендант требует вас к себе...

— Я сейчас...— и, ругая в душе неугомонный характер коменданта, он всунул ноги в валенки, натянул на плечи кожух и, торопясь, вышел во двор. Оттуда, не вступая в излишние разговоры с солдатами — дул пронизывающий ветер, — вместе с ними пошел к школе.

* * *

Всю ночь не смолкала шальная завируха. Глухо шумели, стонали старые ели, звонко поскрипывали обледенелые сосны, и где-то в вершинах дубов перекатывалось гудело: гу-гу-гу-гу-гу-у... Целые охапки снега — сухого, колючего, как иголки — бросал ветер на ветви елей, на скрипучие двери землянки. Ветер врывался в жестяную трубу печки, выдувал из нее золу, искры. Огонь захлебывался, печка начинала дымить. Тогда из землянки выходил человек, возился возле трубы, прикрывал ее еловыми ветками, обледенелыми поленьями дров, чтобы помешать ветру выдувать тепло из лесного жилища. Человек возвращался в землянку, тяжело опускался возле нар, которые занимали почти половину

жилица. Был он высокого роста. Неудобно было сидеть на низком сосновом обрубке. Он сутулился, забюпоеживался. Его густые волосы серебрились при неровном свете керосиновой лампочки, еле-еле освещавшей уголок нар, откуда изредка доносились слабые, едва слышные стоны. Маленький человечек, завернутый в бинты, в простыни, накрытый кожухом, лежал там, лежал неподвижный, беспомощный. Человек брал маленькую ручку, прислушивался к пульсу, жадным ухом ловил едва слышное, порывистое дыхание.

— Доченька моя!..— сорвалось с уст седого человека. Он бережно взял ее на руки, поднялся и, прижимая к себе весь этот сверток, начал ходить, осторожно переставляя ноги, возле нар — пять шагов туда, пять шагов назад. Глуховатым, осипшим голосом, он запел колыбельную:

«Люли-люли, люли-люли...
Усе курочки поснули...»

Но песня не выходила. Или он забыл слова или какие-то мысли отвлекали от песни. Он слышал горячий шопот — трудно было добраться до смысла отдельных слов. Маленький человечек бредил. Что-то говорил о бабке-хлопотунье, которая печет для Вульки оладки, тошит печку, ездит в немецкий обоз. Нет, нет, нет... Она не виновата, бабка, в пожаре. Это ее угольки, вулькины... и красивая синичка. Ах, какая страшная, стра-а-шная синица... Не да-ай то боже...

Слабенький голос угасал. Холодели маленькие пальцы. Человек положил согретый им сверток на нары, нетерпеливо, жадно припал колючей щетиной усов к маленькому рту. Губы Вульки были холодными.

Человек через силу поднялся на ноги. Взглянул еще раз на маленькое личико с опаленными ресницами, с красными пятнышками от огня на щеках, на лбу. И тихо, тихо — только и могла услышать его заснувшая навеки девочка — не то сказал, не то спросил у нее: — Кто же нам, моя маленькая синичка, помешал жить? Кто хочет нашей смерти?

Новой палаткой он покрыл ее всю, прикрыл лицо, отошел к двери. (

— Кто же хочет нашей смерти?! — гневно крикнул он, давая наконец волю своему чувству.

Страшное, оглушительное проклятье потрясло всю землянку, на минуту заглушило шальную вьюгу.

Горячим лбом приник человек к холодному бревну стены, замолчал, собираясь с мыслями.

Узорная изморозь, покрывавшая бревно, таяла под его горячим лбом. Где-то в вершинах дубов перекатывалось, гудело шальное гу-пу-гу-у...

Но в пошвисте завихрухи человек в землянке услышал чьи-то шаги за дверью. Отошел от стены, поправил гимнастерку, провел рукою по лицу.

С клубами морозного пара в землянку не вошел, а вкатился подвижной, быстрый мальчуган лет пятнадцати — шестнадцати. Его запорошенная снегом фигура, розовые щеки, задорные глаза дышали таким здоровьем, такой жизнерадостностью, что он, споткнувшись о порог землянки, застыдилса немного своей излишней живости.

— Дяденька! Андрей Иванович, — простите, товарищ командир, — заречевский отряд прислал меня доложить вам, что наконец мы поймали этого черного полковника...

— Ну-у?! — невольно вырвалось у Андрея Ивановича, и действительно обрадованного такой новостью.

— А куда он денется! Сплюсал под нашу дудку! Там и положили — в волчьем логое возле мостика. И одной кавалерии человек пятьдесят: все эсэсовцы как на подбор... Ну, а как же она? — спросил он тихо, заметив на нарах накрытый палаткой кожушок. — Лучше стало? Спит? — даже на цыпочки привстал паренек, чтобы не наделать лишнего шума своими сапогами.

Человек что-то ответил невнятное, махнул рукой.

— А мы вот только коней запрягли, за доктором ехать... Из местечка думаем привезти, из-под самого носа у немцев.

Андрей Иванович коротко приказал:

— Не надо...

Мальчуган поглядел на него, не понимая приказания.

— Не надо... Умерла...

Часто-часто заморгали глаза паренька, словно легкая тень пробежала по его лицу. Он снял шапку и все тер висок, глядя вниз, на осыпанный сосновыми иглами пол.

Андрей Иванович молча подкладывал в печку желтые, смолистые сучья.

До самого утра приходили и уходили люди из землянки. Навещали человека, чтоб помочь ему перейти через великое человеческое горе.

* * *

А на селе были свои новости.

Женщины пошли утром сдавать в школу молоко, которое носили они туда ежедневно. В сторожке, где принималось молоко, никого не было. Пусто было и в школе. Сквозь два разбитых окна и открытую настежь

дверь гулял ветер. Целые сугробы снега намело на пол. Немцев не было, хотя и стояли их нары с постелями. На стенах висели их ранцы, все солдатское хозяйство было на месте. Но солдат не было. Его хата пустовала. старосты. Касмыля тоже не нашли. Его хата пустовала.

И только здесь заметили старый дуб, который она старательно обходили, стараясь не глядеть на него. На высоком, обожженном когда-то молнией суку раскачивались на веревке два человека. Женщины робко подошли поближе и узнали в висевших старосту и коменданта. Они висели на одной петле, обнявшись, лицом к лицу, словно застыли в долгом приятельском поцелуе. Осыпая жестким снегом, ветер раскачивал их из стороны в сторону, и они качались под посвист вьюги на этих невиданных, страшных качелях.

— Доцеловалась косматая душа...

Кто-то вспомнил о собаке.

Кто-то сказал про Иуду.

Кто-то просто плюнул.

А завихруха гудела, наметала сугробы, прикрывала снегом черные головешки пожарища.

Люди молча разошлись по хатам, подальше от того места, где глухо поскрипывал под шальным ветром обожженный молнией дубовый сук.

ВАСИЛЬКИ

Ясные, погожие дни стоят обычно в эту пору, когда давно окончена жатва, и жито свезено на гумно, и над опустелым полем дружными стайками взлетают скворцы — предвестники близкой осени. В такие дни земля кажется легкой, невесомой, она вся дышит тишиной, покоем, отдыхает. Ни жары, ни пыли, ни сизой дымки над полем. Все видно, как на ладони: и каждое дерево на шляху, и журавль над колодцем в дальней деревне, и зубчатый край леса, и белесый дымок далеко, далеко — там, где проходит железная дорога. Даже видишь, как трепещет пожелтый лист на ближней березе, как высоко-высоко в небе летит неведомо куда одинокая паутинка.

Над полевой болотинкой потешно взлетает аист и медленно летит над полем, вытянув вперед неподвижный клюв.

— Наш аист, — гордо заявляет Миколка.

— Хвастай, хвастай! — смеются ребяташки. — Что ни аист, то твой...

— А вот же наш... Смотрите! Давайте об заклад, на все боровники... — и Миколка взмахивает своим лукошком.

Оно полно грибов, сверху листы папоротника, чтобы не попала пыль в корзинку, да несколько поздних васильков, что сорвал Миколка на обжатой меже в поле. Васильки — для сестрички, она хотела пойти вместе с ним в лес, но мать не пустила: нездорова малышка.

— Ну, что же вы, испугались? Грибов жалко? — настаивает Миколка на ребяташек, размахивая перед ними липовым лукошком.

Аист летит прямо на дикую грушу, что стоит на краю села, высокая, ветвистая, с гнездом на самой вершине. За грушей — хата Миколки.

— Ага! Я же говорил вам... — торжествует Миколка и всматривается в далекую грушу, и легкое облачко пробегает по его живому лицу.

— Опять кто-то аиста пугает... Вот поймаю кого-нибудь — дам...

Все видят, как аист совсем было собрался сесть на гнездо, но вдруг взлетел вверх и долго летал, делая все большие и большие круги, поднимаясь все выше и выше, пока не превратился в маленькое белое пятнышко. А вот и оно уже пропало: видно, полетел аист к синему лесу, что за рекой.

Мальчики вздохнули. Кто-то задумчиво сказал:

— Вот бы самолеты такие сделать, как этот аист. Хочешь сесть на сосну — садись на сосну, на елку — на елку, а то и на хату высокую можно сесть...

— Зачем тебе такие самолеты?

— Немцев бить чтобы лучше было...

— Тоже придумал... У нас, брат, еще помудреней самолеты есть. Р-р-а-аз, — и нет сотни немцев... рр-а-з, — и другой нету... Немцы, они хитрющие, а мы еще хитрей... — резко оборвал Миколка мальчика, меч-

тавшего о таких диковинных самолетах, которые машут крыльями и садятся, где хотят, как аисты.

Все задумались.

Немцы. Никто из мальчиков еще не видел их. Правда, вот уже несколько дней как тихими вечерами глухо гудит земля, и этот гул нарастает с каждым днем. А вчера были видны частые вспышки на западе.

Ребятишки хорошо знают, что это за вспышки. Ведь сами же они помогали выгонять скотину, которую погнали на восток, чтобы не осталась она, чего доброго, врагу. Скотину погнал сам председатель, отец Миколки, вместе с другими колхозниками. Они еще не вернулись домой. А еще раньше проследил раз Миколка, как отец его и другие мужчины ездили ночью в лес и оттуда приехали с пустыми телегами. Возьми и спроси тогда Миколка:

— Это вы гранаты и пулеметы возили в лес прятать, верно, под те старые ели?.. Ты все смотрел на них, когда мы с тобой были в лесу...

Отец даже опешил было от этих слов, потемнел лицом, но потом спокойно подошел к Миколке и, глядя ему прямо в глаза — синие, хитрющие, — сурово прошептал:

— Ты смотри у меня... Если где-нибудь и когда-нибудь ляпнешь какое-нибудь слово, то я... я вытащу длинный твой язык и повешу тебя на нем, на этой вот штуке... — отец выразительно показал на крюк.

Плохие шутки с ним, с этим старым партизаном. А хороший все же отец!.. Немного побаивался его Миколка, но любил еще больше.

...Ребятишки подошли уже к огородам, когда услы-

шали плач на краю деревни. Прислушались — плач раздавался и в другом месте и в третьем...

— Голосят... — испуганно сказал один, и мальчики разбежались, рассыпались, как вспугнутые воробьи, по своим огородам и усадьбам, каждый к своему двору.

Миколка ловко перескочил через забор. Несколько боровиков выпало из лукошка. Он поднял их, старательно вытер от пыли, положил назад. Синие васильки осторожно спрятал за пазуху. То-то обрадуется малышка, когда он вытащит их неожиданно! Стараясь придать своему лицу самое серьезное выражение взрослого, озабоченного трудами человека, хотя и трогала губы его предательская детская усмешка, Миколка сделал шаг, другой — и вдруг задрожал, как лист, побелел весь.

Возле крыльца, недалеко от старой груши, лежала мать на сырой земле. Одна рука была подвернута, другой она прильнула и крепко прижала к себе, словно защищая от кого-то, сестричку Миколки. Лица сестрички не видно. У матери же такие странные глаза, словно глядит она и не видит его, Миколку, своего любимого сына.

Лукошко тихо стукнуло о землю, беззвучно рассыпались грибы — сколько радости было, когда попадались ему эти боровики в лесу! И кажется Миколке, будто лес гудит страшно, страшно. Будто качаются гневно деревья, будто сама старая груша наклонилась вдруг, хочет упасть на него, придавить к холодному песку. Встрепенулся Миколка, глубже вздохнул и, упав на колени, припал к матери:

— Мам... а, мам... Ты что же молчишь?

Схватил руку матери — она была холодной, как лед, тяжелой. Заплакать бы Миколке, на весь мир запла-

кать. Но он слышит голоса в избе, чужую речь. Разве можно слезы свои чужим людям показывать? Гулко хлопнули двери. Из избы вышли люди, грубо оттолкнули Миколку от крыльца. Они что-то несли: не то материны одеяла, не то новое отцовское пальто. Они куда-то спешили, эти люди в необычной одежде, в непривычной для Миколки обуви.

«Немцы...» — мелькнула страшная мысль.

И он не смотрел на них, не хотел смотреть, пока не затихли их тяжелые шаги за старыми воротами. Он увидел кровь. В крови были руки сестрички. Миколке стало жарко, и подкашивались ноги. Но он встал, стараясь понять, что же произошло.. На сердце было пусто и черно, словно взял кто-то маленькое миколкино сердце и выжал из него всю горячую кровь. Да камнем нависла над ним неотступная мысль: «Что-то нужно сделать...»

Плакал Миколка. Забравшись в конопля, он пролежал там всю ночь, пока не заплакал всех слез. Не на людях же слезы пускать Миколке: ему тринадцать лет, он мужчина! А утром видали люди, как он ходил за чем-то в лес, спрашивал стариков, по какой дороге и куда пошли немцы.

Потом долго возился в хате, собирался в дорогу. Трудно было найти необходимые вещи: все лежало разметенное злой рукой на полу. Он взял свою старую школьную сумочку, которую сшила ему мать, когда он был еще в первом классе. Упаковал ее, засунул туда и старый, обгрызанный пенал, любимую тетрадь. Постоял минуту под родной грушей, заботливо прикрыл старенькой, но чистой скатертью лица матери и сестрички и пошел, не оглядываясь, огородной стежкой.

Его видели потом в местечке, через которое проходил большак.

Он стоял, прислонившись к телеграфному столбу, и все вглядывался в дорогу. Кто-то попробовал подшутить над ним: «Уж не в школу ли ты, хлопче, собрался?.. Какое же теперь ученье?»

Миколка ничем не отозвался на этот голос.

Перед ним проходили вооруженные люди группами, колоннами, в одиночку. Поднимая пыль, мчались грузовики, грохотали пушки по каменной мостовой. И все чужие люди, чужие машины, чужие пушки. Он иногда оживлялся на секунду, отрывался от столба, но снова запыленное его лицо становилось серым, бессильно опускались руки.

И вот он пришел, этот долгожданный миг. Вот они те, что замучили его мать, его сестренку, отобрали от него светлое солнце.

Впереди колонны всадников тихо продвигался огромный автобус. Еще не выцвел лак на нем, не стерлись непонятные желтые буквы и знаки. Через открытые окна видел он черные мундиры, черные шапки с красными кантами.

И на шапках и на мундирах человеческие черепа, скрещенные кости. Кто-то из этих людей громко говорил, кто-то смеялся. Пьяную песню тянули ехавшие позади всадники, и песня была серой, как пыль, тяжелой, как камень на сердце.

Миколка подтянулся весь, сжался в упругий комок и в мгновение ока очутился возле самых окон машины:

— Вот вам!.. За мать, за сестричку мою...

Он швырнул в окно какой-то сверток, завернутый в газету. Ослепительный столб огня и железа отбросил

его далеко на придорожную пыль. Оскалив пенные морды, вздыбились кони. Послетали шапки у всадников, кое-кто свалился наземь. Слышались растерянные слова команды. С перекошенными от страха лицами бежали солдаты с носилками, с лопатами. Остатки машины догорали на дороге, дымились, тлели на камнях черные мундиры. ¶

К Миколке подскочил спешенный всадник, седой немецкий вахмистр. Он выстрелил несколько раз в Миколку и потом, словно испугавшись чего-то, быстро спрятал в кобуру дымящийся револьвер и, ссутулившись, избегая взглянуть в миколжины глаза, пошел прочь, к тем, что расчищали дорогу, то здесь, то там, посыпая ее желтым песком.

Миколка не слышал этих выстрелов, ему было уже все равно. Неподвижным взглядом всматривался он в голубое небо, словно прислушивался к былым своим мыслям: о несправедливости, о мести. Застывшее лицо стало колючим, суровым, словно прожил Миколка многие десятки лет, все пережил, все увидел на свете. И только на губах остались — ни огонь, ни железо не могли их стереть — следы усмешки, слабой, ребячьей.

Рядом лежала его сумочка с пеналом, раскрошенным солдатским сапогом. Из-за пазухи выпали и лежали в пыли запоздалые осенние васильки.

Синими васильками отцветали и глаза мальчика.

ДЕТСКИЙ БОТИНОК

Солнечный луч скользнул по лицу ребенка, жарко вспыхнул в русых кудряшках волос.

Это вывело женщину из задумчивости. Привычным движением она сняла платок с головы, деловито развесила его на ветвях, поправила неловко подвернувшуюся руку ребенка, осторожно вынула из потного детского кулачка камешек, прилипшие к ладошке хвойные колючки. И глядя на эту маленькую ладошку, улыбнулась чему-то, вздохнула, приникла щекой к дереву. Шелушистая кора была теплой, пахучей. Янтарно поблескивали на красноватом стволе отеки смолы. Золотистыми иглами прошивали воздух вокруг него стремительные желтые осы. Они тихо звенели, и их звон сливался с сухим стрекотанием кузнечиков.

Было нестерпимо душно. Пахло гарью. Полнеба на западе было укрыто огромною темной тучей. Женщина не смотрела, она боялась смотреть туда. В ушах стояли еще грозный рокот огня, свистящий вой металла, треск оседающих стен. Как перед глазами — повис, качается на проводах подгоревший столб. Струнами гудят провода, жадное пламя мечется на ветру, его желтые языки то вытягиваются, то делаются короче, ползут, шелестят, перескакивают, осыпаются дымными искрами.

Вот-вот упадет, оборвет раскаленные провода. Скорее бы пройти, проскочить это страшное место. Кругом огонь, дым, хрустящий звон стекла под ногами.

...Женщина прислушалась к неровному, вздрагивающему дыханию ребенка, беспомощно припала к земле.

— Да что ты, в самом деле, Нехама? — нарочито сурово говорит ей, тормоша за плечо, ее соседка Вера.

Суровость никак не идет к этой маленькой и подвижной, как ртуть, хохотунье, к золотисто-пепельному сиянию ее волос, обрамляющих такое улыбчивое, в солнечных веснушках лицо.

— Боюсь... Перепуган он... — глазами указывает на ребенка мать.

— А ты не бойся... Все это пустяки... Пройдет... Хорошо вот, живы мы, дети живы. И мужья... тоже будут живы...

Уговаривающий голос постепенно делается тихим, просящим. Незаметно притронувшись к влажным глазам, Вера начинает говорить торопливо, громко:

— Смотри, сколько ягод будет в этом году... Цветов, то, цветов!..

— Да... ягоды... — безучастно шепчет женщина, думая о чем-то своем, сокровенном.

— Да ты посмотри!

— Оставь..

Они замолкают. Они понимают друг друга с полуслова. Эти две маленькие соседки, как их прозвали, две швейницы с одной фабрики. Они и на фабрику пришли из одного и того же местечка, жили в городе в одном доме, в одно время на глазах друг друга обзавелись своими маленькими семьями.

У Нехамы сынишка семи лет, Борис, у Веры двое детей помоложе.

Женщины утешают в дороге друг друга. Поочередно. Иногда не выдержат — всплакнут обе, уткнув головы в зеленую прохладу папоротника, суховатого вереска. Судорожно заколышется папоротник. Потемнеет лицом седая Анистья — дворничиха, — она тут же, с ними.

— Эх, вы!.. А еще молодые! Что же нам-то делать?..
Стыдно перед Анистией. Стыдно перед остальными женщинами. Много их тут, вместе с ребятами.

Маленькие соседки улыбаются, они стараются улыбнуться:

— Да разве мы... Мы просто... так...

— Знаю я вас... Ну, ладно... Пора детей поднимать в дорогу...

И все просят:

— Еще минуток с пяток... пусть поспят...

Сладок детский сон после пыли и зноя. И взрослых клонят к дреме запахи чабора, багуна. Холодный брусничник унимает боль потертой ноги, мягко никнет голова к пушистому моху нагретой солнцем кочки. Горячий воздух струится вокруг красноватого ствола, уходящего высоко-высоко в неподвижную синь неба. Еле-еле колеблются голубые паутинки, птичье перышко, застрявшее на янтарной смоле. Золотистыми иглами прошивают воздух желтые стремительные осы.

* * *

Они появились незаметно, неожиданно нагрянув из-за поворота лесной дороги. Заметив людей, схватились было за автоматы, но увидев, что перед ними только

женщины, дети, они, не глуша моторов, остановились у дороги, некоторые сошли с мотоциклов. Потные, запыленные, пошли между людей, бесцеремонно заглядывая в побелевшие лица женщины, наступая на ноги детям. Один ударил носком сапога в маленький узелок. Пестрый платок взлетел вверх. Из него выпал кусок хлеба, бутылка молока мягко упала на мох. Ее подхватил долговязый солдат и, захлебываясь от смеха, в два—три глотка осушил ее, ловко запустив пустой бутылкой в сосну. Остальные бросились потрошить узелки, корзинки, сумки. Жадно набрасывались на молоко, перехватывали друг у друга добычу, громко потешались над неудачниками. Золотушный ефрейтор, позже других покинувший мотоцикл, начиная свирепеть. Одну за другой разбил он несколько бутылок с водой. В последней корзинке опять вода. Коротко выругавшись, он поднялся от корзинки и, часто мигая выцветшими рыжими ресницами, тяжело осмотрелся кругом. Надрывно плакали дети. Матери прикрывали их руками, тихо шептали:

— Не надо... не надо плакать...

Багровела золотушная шея ефрейтора. Кто-то из солдат невпопад рассмеялся. Сурово цыкнул на него ефрейтор и тут же сорвался на крик, на вопль:

— К чорту!.. Кто тут хозяин?!

Красными пятнами покрылось потное лицо ефрейтора. Топорщилась прокуренная щепотка усов. Ефрейтор бегал, кричал, неожиданно приказал, чтобы отошли в сторону все евреи.

Тихий вздох прокатился на поляке, заглох во мхах.

Кое-кто нерешительно встал. Приподнялась на колени Нехама. Ее схватила за руки Вера, потянула вниз.

— Не ходи, тебе говорю, не ходи...— шептала она сухими, бескровными губами.

Нехама опустилась на землю. Прижав к лицу ладони рук, она сидела в тяжелом оцепенении. Обхватив ручонками ее колени, тянулся к ней сынишка:

— Ты не пугайся, мама... Это нестрашно...

«Это нестрашно» — так утешала его мать в эти два дня, не один раз прикрывая его своим телом, когда черные тени крыльев самолета проносились над ними, а пыльное, белесоватое шоссе становилось вдруг черным от фонтанов грязи и торфяных комьев, веером осыпавших дорогу.

— Это нестрашно...— и мальчик плакал, стараясь заглянуть в лицо матери, в ее глаза.

Но странное дело: она отодвигалась от него, мягко, но настойчиво отстраняя его от себя.

Когда грубые руки схватили ее за плечи, она успела только сказать:

— Береги его, Вера...

Тетя Вера потянула его к себе, к своим малышам, заслонила от матери. Она почему-то кусала — эта тетя Вера — до крови свои пальцы, судорожно сжала его руку и, зажимая ему рот рукой, все говорила, говорила:

— Ты не бойся... Молчи... Молчи...

Раздалось несколько приглушенных вскриков.

— Убийцы вы, звери!.. — голос оборвался, умолк.

Плакали навзрыд женщины вокруг, да громко смеялись чему-то солдаты. Они били по деревьям снятыми

куртками, выбивая пыль. Серые полосы ложились на красноватые стволы. Кто-то из солдат мыл руки в ручье и, оживленно жестикулируя, рассказывал о чем-то, часто оборачиваясь назад, к серым курткам. Серые куртки хохотали.

Хохот неожиданно прервался. Через поляну бежал мальчик. Пронзительный детский крик вспугнул птиц на вершине сосны, они вспорхнули, взмыли вверх над поляной:

— Мама... Мамочка!.. Я не хочу..: Мама!..

Вслед за ним бежала женщина, стараясь поймать его за руку.

— Назад, Боря, назад... Ах, боже ж мой!..

И, может быть, ей показалось, может быть, померещилось тете Вере... Голос ее надорвался, стал сухим, колючим:

— Вы... вы... Не смейте!.. Это дети... Это сын мой!..

Сухие хлопки выстрелов раздалась один за другим. Мальчик как бы споткнулся, опрокинулся навзничь на выцветший под солнцем вереск. Схватившись за грудь рукой, женщина опустилась на колени, что-то хотела сказать, но наклонилась и тяжело упала у большого камня, обросшего снизу скользким зеленоватым мохом. Тихо переливаясь, журчал у камня ручей.

Треск мотоциклов разорвал минутную тишину на поляне. По дороге подъехала другая группа мотоциклистов. Раздалась короткая команда. Солдаты торопливо усаживались на машины и, поднимая клубы густой, тяжелой пыли, уезжали дальше по угрюмой лесной дороге. Золотушный ефрейтор собирался последним. Он остановился около мальчика и, тяжело согнувшись, не глядя

на лицо ребенка, стал деловито расшнуровывать детский ботинок. Сняв один, торопливо принялся за другой. Туго стянутый шнурок не поддавался. Солдат уселся на землю, чтобы удобнее расправиться с неподатливым шнурком. Долго копался в кармане, доставал складной нож. Разнял его — и вдруг в ужасе отпрянул от ребенка. Детская рука судорожно поднялась и жестко коснулась рыжей, щетинистой щеки солдата. Отпрянув в сторону, ефрейтор пробормотал что-то в испуге, но, взглянув искоса на труп мальчика, позял все, успокоился. Чорт бы взял этот проклятый шнурок, сколько возни с ним! Но только он принялся за него, как трескучий удар по каске чуть не опрокинул его наземь. Камень упал рядом с ним. Воровато оглянувшись ефрейтор. Рыжая щетина покрылась мокрой испариной. Быстро-быстро замигали выцветшие ресницы. Он прикрыл было руками лицо, потом спохватился, кинулся к автомату.

Седая старуха шла на него, судорожно сжимая в костлявых руках тяжелые камни. Каждая складка сухого, старческого лица полна была суровой решимости. Станным блеском светились запавшие глаза, страшные, немигающие глаза старухи... За ней двигались мрачные, иступленные фигуры женщин. Он видел камни, увесистые палки, какой-то кусок железа — не то обломок обруча, не то сплюснутая шина от брошенного колеса.

«Откуда они могли взять железо?» — мелькнула такая глупая и ненужная в эту минуту мысль.

Он попятился на шаг и, чувствуя, как холодеет и липнет к шее ставший вдруг тесным воротник, быстро

выстрелил в них, в упор. Автомат упал на землю — острый камень перешиб руку, другой больно оцарапал лицо. Они шли, мрачно двигались на него, ускоряя свой шаг. Пригнувшись, он бросился было к машине. Вслед посыпалась туча камней. Мотоцикл был глух: ушибленная рука не справлялась с заводом мотора. Машина стала вдруг чужой, ненужной. Солдат перебежал дорогу, прыгнул через канаву и, спотыкаясь, прихрамывая, бежал вдоль ручья в глубь леса. Он сбросил каску, ремень, торопливо расстегнул и скинул запыленную куртку. Неумолимые женские голоса настигали его. Женщины обгоняли его слева, заходили справа. Бежать становилось трудней и трудней. Ноги проваливались сквозь мох, увязали в липкой, тягучей грязи болота. Сводило дыхание, капли пота попадали в глаза, мешали видеть.

И тогда он понял, почувствовал: никуда не уйти ему больше от них. Никогда не уйти от этой седой старухи, от ее глаз, страшных и неумолимых, напоенных гневом и ненавистью. Втянув голову в плечи, задышавшись, он упал на мягкую, податливую землю. Угрюмо прошелестели почерневшие у земли осоки, тревожно взметнулась вспугнутая сорока. Земля, заходившая ходуном, вздохнула ворчливо, протяжно.

Больше он ничего не слышал и не видел.

А на поляне плакали дети. Некоторые, постарше, пугово посматривали на белый камень у ручья. Там, на сером песке у воды, неподвижно лежали чужие мамы.

На примятой траве одиноко чернел детский ботинок. Большой рыжий муравей тяжело взбирался на него со

своей ношей — сухой стеблинкой вереска. А когда взобрался, потоптался нерешительно на месте и — чему-то ужаснувшись — торопливо положил свою ношу и стремительно бросился вниз по этой необычной тропе. »

Красноватые стволы сосен уходили высоко-высоко в глубокую и неподвижную синь неба. Золотистыми иглами прошивали воздух желтые стремительные осы. Внизу пахло чабором, багуном, еле уловимым ароматом зеленого вереска,

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ
БІБЛІЯТЭКА
БЕЛАРУСІ



24/XII-99-11

Цена 20 коп.

3892



80000000 180569

1
Ja

1